

В СТРАНЕ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

ГЛАВНЫЕ СЛОВА

С отчего порога – шаг в большой мир, малая родина расширяется в образ большой, бесконечной отчизны. Родина – очень часто употребляемое писателем слово. В каком только благодарно-памятном контексте и не встречаем его – «душевная родина», «наша большая вечная родина», «родина – сердечное дело», «теплота родины», «жизнь человека есть дар, полученный от родины», а однажды, как неумолимая эпитафия, ударяет по глазам читающего – «забытая, заросшая забвением родина». Платоновские названия рассказов также несут в себе это слово – «Родина электричества», «Дерево родины», «Нужная родина», «Любовь к родине, или Путешествие воробья». И даже на обложках его книг военной поры – «Под небесами родины», «Рассказы о родине».

Родина, разумеется, не единственное корневое слово, неизменно присутствующее на платоновской странице. Изначальные существительные, сопровождаемые неожиданными прилагательными, то ласковыми, то грозными, то веселыми, то печальными: существительные, нерасторжимо сродненные с изначальными глаголами жизни и смерти.

На всех языках звучит сущее – жизнь, смерть, бессмертие, вечность, Бог, добро, зло, созидание, разрушение, свет, небо, земля, вода, хлеб, дорога, род, память, душа, семья, мать, отец, дети, сказка, быль, свобода, неволя, сиротство, горе, счастье... Этот перечень слов, объемлющих время, пространство, бытие мира и человека, может быть продолжен, но ни в одном языке – не до бесконечности. Наверное, истинная жизнь нуждается в меньшем числе слов, нежели искусство, пытающееся выразить полноту этой жизни. Современный греческий язык располагает куда большим запасом их, нежели древнегреческий. Но именно на древнегреческом, на его александрийском наречии был написан, вернее, записан Новый Завет.

Есть теряющаяся в веках притча, согласно которой история любого народа, сколь бы ни была она значительна и долга во времени, вмещается в три глагола: рождались – жили – умирали. Понятно, что подразумеваются уточнения, вроде следующего: жили на земле, обращая ли взор к небу? Понятно, что требуются объяснения – где? когда? как? – Объяснения или даже расшифровки новыми глаголами, новыми существительными, зовущими за собой волны новых прилагательных и наречий. Но как бы то ни было, всегда и везде, от века и поднебесь: «рождались – жили – умирали».

И пусть родиной не все завершается, но с нее все начинается.

ГОРОДОК У ДОНА

В Задонске, в здании Земского Собрания, на скорую революционную руку приспособленном под клуб-театр, в 1921 году молодой Андрей Платонов читал свои стихи перед такими же, как он, молодыми людьми, верящими в перестройку страны и Вселенной. На городках, Задонску подобных, стояла уездная Русь. Уездные центры – как чистые алмазы, живописно расположенные у берегов рек, в долинах или на косогорах, звучно-поэтичные названиями, будь то Задонск или Елец. Лебедянь или Острогожск. Землянск или Новохоперск: они как бы соединяли в себе городскую и деревенскую Русь: главная площадь, собор, присутственные дома, в сторону – почти сельские улочки, да еще окраинные слободы – Казачья, Монастырская, Стрелецкая... А взглянуть с колокольни или пожарной каланчи – видно во все стороны света, вокруг – поля, деревни. Неисчислимы деревни и села, которые хлеб выращивают и поставляют воина в час войны.

Платонов не раз признавался, что деревню любил с детства, любил до слез. Любил и уездные городки, многие исходил не как паломник.

Задонск же был – особенная песня. Здесь корни отчие. Здесь родились отец Платон Фирсович Климентов (1870–1952) и мать Мария Васильевна Лобочихина (1875–1929), здесь, в старом Успенском соборе, они и обвенчались. Да и сам будущий писатель знал в Задонске едва не каждую улицу, едва не каждую тропинку к Дону.

«В раннем же детстве я жил в Задонске и слышал от деда, через мать, что некогда в Задонск приезжал Достоевский – посмотреть на знаменитый монастырь, где жил Тихон Задонский, сокровище души Достоевского, как он сам об этом писал. Дед был золотых дел мастером, работал на монастырскую ризницу, издавна был связан с монастырем, и, наверное, слух о посещении Задонска Достоевским имеет некоторые основания. Возможно, что Достоевский переписывался с настоятелем монастыря, чтобы получить сведения о жизни Тихона, когда думал о написании «Братьев Карамазовых».

Скорей всего, это предание, и не об этом речь.

Нервной, жесткой поступи революции совсем не по духу был Достоевский с его пророческими, не в бровь, а в глаз бьющими «Бесами»; претил и Тихон Задонский с его духовными сочинениями, чуждыми большевистскому (да и либеральному) сознанию, ограниченному социальной борьбой, лишенному бытийной печали и окрыленности; и сам Задонск – «древнерусский монастырский центр» был бы для революционного легиона куда пригляднее, не окажись в нем монастырских купольных глав, крестов, памяти о Тихоне Задонском. Революция спешит со своими ценностями и реальностями, для нее корневая Россия – чужая.

Через несколько лет, в письме, посланном жене из Тамбовской губернии, куда его направят на мелиоративную страду в конце 1926 года и где он не пробудет и полугодом, он скажет: «Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и проза. Но мне кажется – настоящее искусство, настоящая мысль только и могут рождаться в таком захолустье».

Захолустье, провинция, уездная Русь. Патриархальный уклад на пути наступательного авангарда. Пережечь, переделать провинцию в революционном горниле – воинственная задача всяческих революций, даже если они притворяются не великими переломами, а великими реформами, бархатными и прочими деяниями. Преобразование затянется, примет формы уродливые, – когда будут выжиматься все соки из земли и крестьянина – пахаря и воина, когда рукотворные моря погребут под своими мутными водами избы, сады и погосты; когда тысячи и тысячи славянских деревень принуждены будут погасить огни из-за якобы неперспективности, придуманной и рассчитанной в столичных сферах. Когда переполнятся сиротские дома, приюты престарелых, когда даже вороны перестанут грать над гибнущей крестьянской страной.

Молодой, верящий Платонов читает в Задонске стихи, там – ни строки о Задонске. Но сохранится запись его более позднего времени, и эта записка как прозревший взгляд назад: «Задонск – лозунг отца, крестьянский остаток души: на родину, в поле, из мастерских, где 40 лет у масла и машин прошла жизнь».

Так случилось, что «крестьянский остаток» сохранился и в сыне. Сохранился настолько, что он, верно, задыхался от боли и плача, погружаясь в «Чевенгур» и «Котлован» – жестокий мир, в котором русское крестьянство сходило со своих подворий, со своих пашен и нив, со своего традиционного земледельческого жизнетворящего пути.

Но покамест революция еще не развернулась во всю мощь в своем разрушительно-строительном движении.

Идет 1921 год. Платонов в Задонске читает стихи.

Платонов верит, надеется.

НОВОХОПЕРСКАЯ БЫЛЬ

«Сейчас я вспоминаю о скучной новохоперской степи... Я спешно был посажен на паровоз помогать машинисту. Фраза о том, что революция – паровоз истории, превратилась во мне в странное и хорошее чувство: вспоминая ее, я очень усердно работал на паровозе... Позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз в ощущение революции», – эти строки из письма, обещавшего стать большим художественным повествованием, вполне раскрывают краткую, но значи-

тельную страницу платоновской молодости. Писателю, с детства питавшему особую любовь к паровозам, выпало и непосредственно поработать помощником машиниста, и ощутить паровоз (молодое наивное чайнье!) как движение самой истории и огненной ее героини – революции: движение освещаемой революционными сполохами истории, которая, стремительно захватив Россию, двигалась и через новохоперскую степь.

Небольшой городок, чуть не на три сотни километров удаленный от губернского центра, расположенный среди полей и лесов на берегу заповедного Хопра, в стороне от больших магистральных дорог... Но не только магистральными дорогами направляет живущих судьба – случайность или предопределенность, добрая охота или жесткая нужда.

В лето 1919 года в Новохоперск приезжает Андрей Платонов, тогда начинающий публицист, поэт, а по командировочному удостоверению – корреспондент «Известий» Совета обороны Воронежского укрепрайона.

«Июль 1919 года был жарок и тревожен. Я не чувствовал безопасности в маленьких домиках города Новохоперска, боялся уединения в своей комнате и сидел больше во дворе. В моей комнате висели иконы хозяина, стоял старый комод – ровесник учредителям города, а дверь в любой момент могла наглухо закрыть жилище большевика; через окно тоже не было спасения: под ним лежал ворох колючей проволоки», – так, три года спустя, в письме к жене опишет Платонов свою первую журналистскую командировку в самый, может, горячий, беспокойный угол Воронежской губернии: за короткое время здесь шесть раз успела поменяться власть – то красная, то белая, то снова красная.

«...Иногда я ходил в клуб рабочей молодежи – комсомол в Новохоперске еще не образовался, – мне странно было читать в доме, из окон которого виднелась душная бедная степь, призывы к завоеванию земного шара, к субботникам и изображения Красной Армии в полной славе. А кругом города, в траве и оврагах, ютились белые сотни, делая степь непроходимой и опасной...».

Рассказывается в письме и о красногвардейцах, которые «бились насмерть с казаками с одним патроном в винтовке и двумя жилами в теле», – о том, как бойцы, под руководством учителя Нехворайко обув своих коней в лапти-широкоступы. чтоб кони не тонули в вязких тряси-нах, сумели вышибить белоказаров из укрепленного хутора в погибельное болото. Этот отмеченный в письме эпизод позже почти дословно вошел в роман «Чевенгур», разве что отряд Нехворайко вышибает казаков не из хутора Мравые Лохани, а из города Новохоперска.

В «Чевенгуре» автор как бы вновь пережил краткое, но тревожное свое пребывание в степном городке – теперь в образе Александра Двано-

ва, созерцателя и делателя, «очарованного странника» и «сокровенного человека» революционных лет России. Сам же Новохоперск благодаря платоновскому «Чевенгуру» известен теперь читающему миру: литературу двадцатого века сегодня немислимо представить без платоновского «Чевенгура», как немислимо ее представить без шолоховского «Тихого Дона», булгаковского «Мастера и Маргариты», замятинского романа-памфлета «Мы», леоновской «Пирамиды», романов Томаса Манна, Фолкнера, Кафки...

Платонов недолго пробыл в Новохоперске, но, надо думать, его тянуло глубже узнать историю городка на Хопре: молодого созерцателя и преобразователя живо занимали эпоха и образ Петра Великого, а именно на петровское время приходится самая драматическая страница в судьбе Новохоперска, хотя и до Петра с его жесткой государевой дланью он существовал не одно десятилетие, правда, под другим названием – Пристанский городок. Основанный казаками, он и характер имел соответственный – беспокойный, непокорный, «бунташный»: именно отсюда в разинские дни отряды мятежного атамана Никифора Чертка устремлялись на тамбовские земли испытать силу царевых войск. Находясь между Москвой и Астраханью на Ордобазарной дороге, позже названной Астраханским трактом, городок как бы косил глазами – то в сторону властной Москвы, то в сторону низовой Волги. Здешний дух казачьей вольницы дал знать о себе и в петрово царствование: городок не только поддержал мятеж булавицев, но даже стал центром его: здесь на большой круг собрались в 1708 году казаки с Дона и Хопра, отсюда Булавин и его сподвижники, дабы поднять на восстание ближние и дальние города, слал туда как «прелестные письма», так и казачьи отряды.

Пристанский городок, после того как булавицкий мятеж был устрашающе жестоко подавлен, повелением царя подвергся полному разорению. Однако Петр Первый – и разрушитель и одновременно устроитель тогдашней отечественной жизни – распорядился вскоре едва не на горячих углищах срубить военную крепость; строительство, начатое в 1712 году, через четыре года завершилось. На берегу Хопра поднялась Новая Хоперская крепость.

Через несколько десятилетий, с продвижением границы на юг, городок, обжитый выходцами с украинских земель, утратил свое прямое оборонительное значение: в последней четверти восемнадцатого века Новохоперскому казачьему полку предписано было с семьями переселиться на Кубань – нести службу на Азовско-Моздокской пограничной линии.

В 1799 году Новохоперск обрел статус и герб уездного центра. Сначала уезд был причислен к Тамбовскому наместничеству, на короткое время – к Саратовскому, с 1802 года перешел в ведение Воронежской

губернии.

В двадцатом веке городку выпало быть на гулких перекрестках истории. Осколками и пулями иссекла его сады и улицы гражданская война. В Великую Отечественную на берегу Хопра формировалась чехословацкая воинская бригада, которую возглавил Людвик Свобода, позже – чехословацкий президент.

Какая будущность, какая тайна у городка, недалекого и от тихого заповедного леса, и от гулкой железной дороги? Невольно вспоминаешь строки знаменитого платоновского романа: «Город опускался за Двановым из его оглядывающихся глаз в свою долину, и Александру жаль было тот одинокий Новохоперск, точно без него он стал еще более беззащитным».

Одинокий? Беззащитный? Наверное, это естественное ощущение во времена революционных сломов и гражданских смут.

А люди выращивают хлеб, как выращивали его на Руси всегда, – и в добрый, и в недобрый час.

И с колокольни местного собора, лишившегося своих колоколов в лихие времена, звонят новые колокола, зовут к новой заутрене... И звоны их – как голоса надежды и Веры!

ПОЭТ ГУЛА И ТИШИНЫ

«Голубая глубина» – сборник в 80 стихотворений, считая и предваряющее сборник четверостишие. Это первая художественная книга Андрея Платонова. Годом раньше вышла в свет его же публицистическая брошюра – «Электрификация».

На титульном листе «Голубой глубины» издательские данные – «Буревестник», Краснодар. 1922». Почему Краснодар, а не Воронеж? Приятная для столицы Кубани случайность: в Краснодар незадолго перед тем перебрался недавний редактор «Воронежской коммуны» Г. Литвин-Молотов, еще при первой воронежской встрече и прочтении первых строк молодого автора разглядевший в нем истинное и многообещающее дарование; позже он, возглавив в Москве издательство «Молодая гвардия», откроет Платонову выход к всероссийскому читателю – издаст в столице первые сборники платоновской прозы – «Елифанские шлюзы», «Сокровенный человек». Покамест же – стихи. Платонову – двадцать три года. Некоторые включенные в сборник стихи написаны и вовсе в раннем возрасте – в тринадцать лет. Но первую часть трехчастной книги представляют последние по времени написания строки – послереволюционные, в которых молодая воля, чувство и мысль уповают на техническое переустройство Вселенной. Молодой автор – весь в движении. Издательство посчитало уместным предварить сборник

предисловием, где пространно были процитированы выдержки из платоновского письма к Литвину–Молотову. Автокомментарий многое проясняет. . .

В книге – как бы две книги. Как два мира! Вселенский масштаб, всепланетное шествие машин, апофеоз металла, дерзновенная мысль о покорении разумом Вселенной. И тут же – о более земном, человечески теплом, привычном от былых веков и на его малой родине, да и на всей Руси. Мир железный и мир природный, жесткого разума и сочувственного сердца – они, подобно недобрым соседям, и вместе, и врозь.

Машинное, технократическое преобразование Вселенной еще только декларируется в строке, но сколь же одиноко и холодно человеческому сердцу среди подобных деклараций: «Как песком мы мирами играем», «Землю бросим в горн!», «Солнце мы задумали догнать и погасить», «В наших топках пусть вселенная сгорит», «Мы усталое солнце потушим. . . людям дадим мы железные души, планеты с пути сметем огнем». Поистине – «разум наш, как безумие, страшен»!

Но кто эти «мы», готовые осчастливить всех железными душами, совсем не беспокоясь, хотят ли люди таковых? Самобытный во всем как писатель и человек, здесь Платонов и не самобытен, и, конечно же, не одинок. Пролеткульт, поэты «Кузницы», философы и стихотворные приверженцы революционного «рабочего» искусства были влекомы гигантским, планетарным, космическим. Небывалое переустройство мнилось через «исправление» Вселенной, понятно, не мыслимое без разрушения ее нерукотворного облика.

Но Платонов – не легковверный ходок на этом железном пути, и технократическое, вселенско–космическое – не главное в нем, чему свидетельство – последующее, уже в прозе, его обращение к «божественному теплокровному сердцу», к миру маленького человека. Да и в «Голубой глубине» молодой поэт не освобождал себя от «тяги земли». Наивные его ранние стихи и предельно искренни и по сути истинны, поскольку – об истинном: извечном, существе, выстраданном многотрудной судьбой человека земли. Литвина–Молотова при первом знакомстве с платоновскими текстами взволновали отнюдь не технократические и космические дерзания необычного зашельца в редакцию (редактору он показался разительно похожим на молодого Достоевского), а земные, словно пришедшие с крестьянской страды строки: «Тою ночью чутко спали пашни, села, Звали молча к ним дороги, уходили на звезду».

В цивилизованной жизни много шума и грохота – от действующих на покорение природы машин до эстрадных действий и покорения ими увлеченных толп; но конечно же, сколь бы ни менялись времена и

вкусы и как бы ни захватывал индустриальный и масс-зрелищный прогресс, жизнь не из одного лишь шума-грохота состоит.

В «Голубой глубине», а значит, и в сердце ее создателя – много тишины. Слова «тихого» корня прорастают едва не на каждой странице – тихий путь, тихие ночи, тихие мечты, тихая песня, тихая мать; и даже неожиданные – тихие волосы, тихие глаза. Тишина – как начало явно положительное – возникает и в процитированном платоновском письме – «тихие теплые вечера в Ямской слободе»; автор пишет, что он «родился на прекрасной живой земле», и хотя он в те поры отдает дань «машинобожью», но вовсе не чувствуется его сокрушенности из-за того, что его малая родина не переделана в металлическую и синтетическую железной волей, железными машинами.

Дорога и странник станут неизбывными образами основных прозаических платоновских произведений. Начало же дороги – в «Голубой глубине», к слову сказать, образом утренней дороги сборник и заканчивается. Если даже во сне, «ночью каждый от себя уходит», то дневные дороги прямо-таки перенаселены и богомольцами, и богоборцами сдвинутой Руси, ищущей или заблудившейся...

Дорога обретається для будущего, но нередко уводит в прошлое – давнобылое, давноушедшее.

Здесь когда-то, прежде времени,

Море жило в песне волн

И таило в тинной зелени

Утонувший чей-то челн.

Сердцем отыскивается, видится и более близкое прошлое. Прошлое, которое не раз скажется и в будущем, и на будущем.

По деревьям колокола

Проплачут об умершем Боге.

Когда-то здесь любовь жила,

И странник падал на дороге.

И хотя «у дороги края нету», но есть искупительное возвращение – «Бьет родник живой и безначальный. Странник шел и путь искал домой». По своей, а бывает, и не по своей воле оставляет человек отчий дом, но и часто возвращается из дальних краев – возвращается от сердечной тоски, в надежде, что даже потухший родной очаг согреет усталое сердце.

Тут я любил и родился.

Братца таскал на руках.

Землю большую увидел...

Здесь это неожиданное – любил, прежде чем родился – приоткрывает тайну чувства к родине. В человеке любовь и память – как завещание родной земли и родных ушедших. С ними он словно бы

рождается и ими оберегаем в мире ближнем, отчем, охватываемом начальным взором. А без ближнего мира – не понять и дальнего, даже если праздно или озабоченно испорхать, излетать его стократно.

Молодая поэтическая строка Платонова – как бы в два голоса: в ней – гул и тишина, кротость и дерзость, полевая тропинка и Млечный путь, отчий порог и Вселенная. Земной и околоземный мир – дивное творенье Божье, но человеку не терпится изменить его, пересотворить по-своему, искусственным светом и искусственным величием заполнить обезбоженные пространства и души. Окажется, что преобразующий инженерно-машинный разум – не спасение. Машины – машинами, но «уходят века чередою, А нам и травы не понять». Если «колеблется и стучится вселенная в каземате, который есть она же сама», то спасение, ответ, свобода – в каком «внутри» и в каком «вне»? И что же остается? Уняв гордыню, «дедову правду искать»?

В «Голубой глубине» строфа как волна, видятся чистые, ясные, а подчас и исполненные некоей загадочности истинно поэтические строки:

Уходили века.

Нивы ждали весны...

Но тропа далека

До зеленой сосны.

Благожелательно откликнувшийся на выход провинциального сборника В. Брюсов, скорее всего, и задержал на нем свой взгляд из-за увиденной в нем чуткой поэтичности, не искаженной чужими голосами. Чуть раньше дружный с А. Платоновым воронежец В. Келлер, ценя в своем Друге именно поэтическое сердечное начало, писал: «Стихи Платонова просты, как дождь и ветер, и принимать их нужно так же просто...»

Снова льется теплый ливень песни,

И опять я плачу от звезды.

Не за теми стихами, где полыхал пламень железного покорения Вселенной, но за теми, где соучастливое человеческое сердце билось в ритме понимания одушевленной природы, где «тоскует верба в поле», где «солнце от боли кричит» и где «смертельна красота Вселенной», угадывалось органическое продолжение.

Хорошо известны случаи, когда молодые авторы, издав свой первый стихотворный сборник, скоро в нем разочаровывались; а дальше оборачивалось по-разному: иногда – лишь сожалением, как у Некрасова, а иногда – и тиражным сожжением, как у Гоголя. Платонов же никогда не отказывался от своего первенца. Более того, лучшие стихи «Голубой глубины» пытался переиздать.

В 1926 году он писал из Тамбова жене в стиле сугубо деловом, непривычном, несвойственном в его переписке с «музой» – «Препровождаю при сем сорок стихотворений, прошу тебя буквально с ними посту-

пить нижеследующим образом: 1) Передать все Молотову и просить выпустить отдельной книжкой. 2) Стихотворений я отобрал немного, но зато они, по-моему, доброкачественны...»

А вот – из письма 1936 года: «Сейчас читал свои стихи. Предлагаю издать их не в «Молодой гвардии», хотя Молотов просил их дать через неделю, помнишь ты такой отрывок:

*Помню я, в тоске воспоминанья,
Свежесть влажной девственной земли
И с небес дремучее молчанье,
И всю прелесть милую вдали...*

*Но чем жизнь страстней благоухала,
Чем нежней на свете красота,
Тем жаднее смерть ее искала
И смыкала певшие уста.*

Меня это тронуло нынче больше, чем когда я писал стихи».

К той поре он стихи уже не писал. И с переизданием не сложилось.

Но поэзия жила и в прозе. Она как бы переселилась на страницы его рассказов, повестей, сказок, дав им неповторимую интонационную и смысловую прелесть. Уйдя от поэтических, требующих явного ритма и рифмы жанров, Платонов до конца своих дней сохранил поэтическое восприятие мира. Он сохранил его, несмотря на тяжкий крест, который ему выпало пронести по жизни.

ПЛАТОНОВСКИЕ КОЛОДЦЫ

Платонов воронежской поры, «на заре туманной юности» – тих и громок, в его слове – почва и космос, его мысль – и о малой травинке, и о Вселенной.

Одно время он был прямо-таки захвачен идеями о пересотворении Вселенной, и об этом – не только его юношеские стихи, но и публицистические строки, щедро рассыпанные по страницам тогдашних воронежских газет, и ранние фантастические рассказы и повести; по-юношески дерзок он в размахистых, социально-рисканных прожектах, масштабы которых – планетарные, а то и космические; уповающий на революционное преобразование мира, научно-инженерную переделку жизни, он в чем-то разделяет машинный пафос героев своих произведений, их технократические фантазии и иллюзии, их поклонение «числовому разуму».

Еще за годами – «Усомнившийся Макар», и наш земляк – из верящих, во всяком случае, в социальное преображение мира через

инженерно-техническое устройство. «Русскому мужику тесны его пашни, и он выехал пахать звезды». Сохою звезды не распашешь, чтоб неузнаваемо изменить лицо Вселенной, требуются орудия небывалые и, как выясняется, опасно разрушительные. И такие орудия человеческий разум способен изобрести. И применить – роковым образом.

В фантазии «Потомки солнца» главный герой Вогулов, озабоченный ни много ни мало «перестройкой земного шара», свое орудие – «сконцентрированный ультрасвет» – применяет в уверенности, что совершает благо для земли и человека. Забыта малость: ни земля, ни человек не спрошены, хотят ли они стать подопытными?

Подопытная часть земли велика и территориально, и исторически – Карпаты. Испытание, исторгающее апокалипсические сполохи и ураганы, кончается тем, что «от Карпат не осталось и песчинки на память». Сметена не только часть земной территории, но часть всемирной души, всечеловеческой памяти и истории; даже если из Карпат и эвакуированы люди, там – дома и могилы предков. Могилы отцов, какие в мир живущих не вернуть.

В «Эфирном тракте», еще одном фантастическом повествовании, ученый Матиссен («чтоб Мою науку проверить, нужно целый мир замучить») испытывает новый способ управления миром – энергию ума, через соответствующие волны воздействующего на дальние расстояния. Первое впечатление от делаемого Исааком Матиссеном – благо: капустаемые поля орошаются речной водой, не страшна засуха. Но далее гибнут в морской пучине два корабля. Гибнут из-за болида, обрушившегося в море по воле ученого. Природу преступно терзает ученая мысль, и понятна прозревающая горечь повествователя, видящего, что «ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветнее всех человеков». Это уже предостережение. Сколь ни всемогущи обезбоженный ум, он не сильнее верящей души, не глубже сердца; созидающий же через подсказанное «числовым разумом» разрушение не есть созидатель.

В фантастической повести «Лунная бомба» Питер Крейцкопф, изобретатель лунного аппарата, могущего доставить человека на Луну, первым из землян достигает воспетой поэтами Селены – бледной, загадочной спутницы Земли. И что же? Принес ли ему радость безошибочный инженерный расчет? Счастлив ли он, достигший запредельного? Предостерегающий прощальный голос в конце повествования звучит как эпитафия обманутых надежд: «Скажите же, скажите всем, что люди очень ошибаются. Мир не совпадает с их знанием». Давно ли молодой воронежец звал отменить прежний, даже не людьми предустановленный порядок и, готовый пересоздать Вселенную самым жестким образом,

отметал пол и наслаждение как буржуазную накипь-отраву, отвергал любовь двоих?

Давно ли спешащий преобразователь досадовал, что пересоздание мира осуществляется слишком медленно? «Неужели время не движется, и до сих пор Христос, Шелли, Байрон, Толстой интересней электрификации?» – полемически смахивались с полноцветной картины все полутона, в ряд с Байроном, Шелли, Толстым помещался сын Божий и человеческий, и произвольно соединенным именам противопоставлялось нечто более интересное – безличная электрификация; это ребячески-наивное вопрошание-заблуждение все же миролюбивей, отвлеченней нешуточных намерений легиона тех, кто грозился Пушкина сбросить с палубы современности и жаждал «пулями по музеям тенькать».

Даже и тогда, когда молодой фантаст грезит сполохами вселенских обновлений, он, обратясь долу, мир воспринимает разумом – осердеченным, сердцем – многопонимающим, чутким.

Видит не только сиротскую неустроенность земной жизни, но и красоту природы, которая – не от рук человеческих: человек способен благоустраивать мир лишь до известного предела; растопи он льды Арктики и устрой сплошные сады в Сахаре (где приобретаем, где теряем?), мир утратит часть самого себя.

Молодой Платонов, сколь бы ни мыслил в жанрах космических, технократических притязаний, не в силах не слышать свое и чужое сердце. От этого ему никуда не деться, он сизмальства и всю жизнь воспринимает чужое горе как свое. Его ранимо тревожит сиротство не только человека, но даже малой былинки, осеннего листка. И он напишет об этом, как до него никто не писал. И о любви двоих и о вечной их надежде напишет верно и неповторимо. «Мне все дорого... и каждой рытвине, каждому столбу и далекому человеку, пропадающему на дороге, я говорю: «Я возвращусь»...»

Нет в его сердце далекого человека. Человека, которому можно было бы дать пропасть. Он помещается молодым писателем в сокровенный центр своего сердца, в центр предметного во времени и пространстве бытия, и даже в центр самой Вселенной.

В платоновской публицистике и фантастике исполинскому преобразованию подвергается Вселенная. Но в жизни сердечное и необожженное преобразование даже малой пяди земли – тяжкий, часто малозаметный и скорых лавров не приносящий труд, которому надо отдавать всего себя.

В родном Черноземном крае – засуха, в Поволжье – голод. И молодому писателю не приходится мучительно выбирать: слово или дело? Горе бедствующих поволжан, трудную страду Родины он считает необходимым разделить на всех, всем соединиться в сострадании и содей-

ствии, а не рассчитывать на крохи заграничных подаваний.

Не час заниматься «созерцательным делом – литературой», когда выгорает нива.

«Работы по орошению кажутся ему нужнее стихов, – писал в 1922 году друг А. Платонова В. Келлер, – поэтому он несколько отошел теперь от литературы – и в этом он всегда прост и честен... Достигнет ли он широкой известности – не знаю. Толкаться в литературных лавочках Питера и Москвы и кричать о себе он, разумеется, не будет...»

Толкаться? Не спешит он на литературные столичные ристалища, где во всякие времена шумит дождь завышенных признаний, наград, чествований. Стояло время «Чевенгура» – безоглядных чаяний и необратимых потерь. «Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала». Помочь хатам обрести электрический свет, помочь иссушенным крестьянским полям и дать воду суходольной земле, помочь заболоченным поймам и сенокосам – сюда устремляется молодой преобразователь со всей страстью сердца, ума и рук.

Черная Калитва и Тихая Сосна, Усмань и Потудань, Битюг и Богу-чарка – где только, на какой речке, в каких болотных поймах он не побывал! Исходил, изъездил, хорошо знал все уезды Воронежской губернии. Оставь он после себя пусть даже беглые дорожные записки и заметки – какое бы это было драгоценное чтение! Губернский мелиоратор и электрификатор на деревне, он осушал болота, восстанавливал мосты и дороги, строил пруды и колодцы, устанавливал движки, чтобы подавать воду и электрический свет. В практическом устройении родной земли он был так деятелен и беззаветен, что благодарные крестьяне называли свои мелиоративные общества – Ольховское, Озернолебяжье, Лысогорское – именем молодого устроителя.

Позже, в письме к Воронскому, Платонов отметит: «За два года я был на больших и тяжелых работах (мелиоративных), руководил ими в Воронежской губернии... Я построил 800 плотин и 3 электростанции и еще много работ по осушению и орошению и пр...» Есть и другое его письменное свидетельство, где он упоминает о сотнях земляных, дубовых, бетонных колодцев, построенных им.

Но преобразователь природы, осушитель болот, устроитель гидростанции на реке Дон, он скоро почувствует и удостоверится, что большая природа столь же хрупка, как и малое человеческое сердце, и что построить гидростанцию на реке Дон – значит изменить не только ток воды, жизнь реки, но и всего сопутствующего: леса, травы, рыбы, да и самого человека. В природе, где даже осенняя рябина колеблется не от ветра, а в предчувствии зимней стужи, человеку остается быть предельно осторожным, чутким в каждом своем шаге.

Вскоре созданный роман «Чевенгур» – предостережение не только против утопий социальных, но и преобразовательно-природных.

Поникшие в Чевенгуре сады нетерпеливые обновители жизни передвигают с места на место, из одного конца городка в другой, как если бы сады оставались живыми, плодоносными, растущими и без корня. Зловещая картина, апокалипсическая метафора. Символ разломанного бытия, разорванного времени.

Тогда заезжим крушителям ничего не стоило при виде векового леса распорядиться: «Вырубить надо наголо всю эту гущу и засеять рожью». Но что же дальше? В романе читаем – «Глубокая революционная ночь лежала над обреченным лесом».

Чернобыль и иные техногенные катастрофы предупреждают нас. что подобная ночь может опуститься над всем обреченным миром. Теперь даже экологически малопросвещенные люди понимают, что каждое срубленное дерево, каждая отравленная речушка, каждый химический выброс приближают грозный час конца.

Что остается?

В том же «Чевенгуре» есть эпизодический образ бобыля, который жил и умер, «не повредив природы». Это платоновское «не повредив природы» – ныне главное, чем надо озаботиться человеку. И человечеству – тоже.

За каких-нибудь пять лет, с начала двадцатых и до середины их, Платонов прошел редкостный путь наблюдений и действий, поисков, упований, заблуждений и прозрений. Путь, приведший его к созданию в немногие месяцы нескольких художественных повествований разных жанров. Среди них и повесть «Епифанские шлюзы».

Ему надо было заглянуть в историю, увидеть именно петровское время, чтобы, возвратясь, оглядеться. Что же происходит в стране, в которой властителями стали люди именно петровского склада – готовые и ломать, и строить, и ни перед чем не останавливаться. Все ли так сбывалось, как чаялось?

ДОЛГОТА ИСТОРИИ

Поскольку каждый человек – Вселенная, переживает и осуществляет историю не только своего «я», но и историю национальную и даже всемирную, внутренняя потребность странствовать по просторам и глубинам веков есть в каждом живущем; тем более в писателе, объявшем землю и космос, постоянно размышлявшем о времени, его тайных и явных токах.

Историческое, панорамное видение – в мысли, метафоре, имени – обнаруживается уже в ранней платоновской публицистике. А фанта-

стическая повесть «Эфирный тракт» начиналась со страницы, в окончательный текст не вошедшей, прямо-таки погружающей нас в колодезь истории: «В бассейнах верхнего Дона, Оки, Цны притаились тихие земледельческие страны, населенные разнородными и даже разноречивыми племенами. Это неправда, что в этих равнинных и полулесных краях живет сплошной русский народ... Скифы, сарматы, болгары, скандинавы, татары и даже иранцы и индусы отцовствовали над этими земледельцами, и у пахарей остались черты их отцов».

Разумеется, здесь – книжное знание, но сама родина Платонова подвигала мысленным взором проникнуть в «несметные времена», в «множество времен». Древнейший Дон, поля с могильными курганами ушедших племен, река Воронеж, на которой разворачивалось петровское «великое корабельное строение»...

Человеку, всерьез размышляющему о судьбах Отечества, рано или поздно приходится обращаться к петровской эпохе, к образу сильного царя – разрушителя и созидателя одновременно; тем более человеку, выросшему в местах, облюбованных царем-преобразователем для корабельного строительства, сердцу, чутко переполненному болью и за живущих, и за ушедших.

В 1922 году, – тогда предполагалось соорудить гидростанцию на реке Воронеж, у Чижовской слободы, на шлюзе петровской поры, – Платонов в губернской «Коммуне» писал: «Станция будет оборудована в постройке Петра I, остатки которой еще сохранились... она будет создана, горизонт воды на реке будет урегулирован, постыдного мелководья на реке, где нарождался флот, больше не будет».

Урегулировать? Каким образом? Запрудой, плотиной, бетонным валом, остановкой живого тока реки? Нынешнее Воронежское водохранилище, химический отстойник едва не всего, что есть в периодической таблице, – образ и результат подобной урегулированное™. Опасность сугубо волевой регуляции, прагматического инженерного расчета Платонов почувствовал скоро.

Историческая основа повести «Епифанские шлюзы» – неудачная попытка многочисленными шлюзами соединить Дон и Волгу через реки Шать, Упа, Ока. Рьяный сторонник этого проекта – сам царь и, понятно, иноземные мастера, нанятые пришельцы. Были у этой затеи и явные, даже среди больших сановников, возражатели, скептики, не без резона полагавшие, что «один Бог управляет течением рек, и дерзко было бы человеку соединять то, что Всемогущий разъединил». Но главный скептик – сам тягловый, погруженный в шлюзовые котловины люд, и сказано об этом в повести с ироничностью и скрытой болью: «А что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифани еще год назад знали. Поэтому и на работу все жители смотрели как на

царскую игру и иноземную затею». Насчет игры – в точку. Позже царь, оглядываясь на многие незавершенные начинания, сознается: «Все то дело яко младенческое игранье было».

Государево игранье в великие тяготы обошлось народу, да о том ли печаль неугомонного самодержца, который (как не согласиться с историком Ключевским!) от предшественников «унаследовал два вредных политических предрассудка – веру в творческую мощь власти и уверенность в неистощимости народных сил и народного терпенья. Он и не останавливался ни перед чьим правом, ни перед какой жертвой».

Два с лишним века спустя новые «унаследователи» на крови, костях, страданиях народных достроят многое из того, чем обуреваем был Петр Первый. Будет прорыт Беломорканал – та Осударева дорога, о которой Пришвин в своем знаменитом теперь Дневнике даст разящий штрих: виселица, сопровождающая царя на всем его топком северном карельском пути. Будет построен наконец и Волго–Донской канал. Его строительство завершалось, когда Платонов доживал свою жизнь.

Подступаясь к «Епифанским шлюзам», писатель прочитал, где пролистал тьму исторических страниц, даже архивных, даже старорукописных. Может, и оттого повесть соткана «тягучей славянской вязью», которой художник был не вполне доволен. Пленником документа он однако не стал. А сдвинутые им персонажи и времена лишь добавили «Епифанским шлюзам» художественной выразительности.

История присутствует во всех основных платоновских произведениях, созданных в небывало краткий, пятилетний срок – до середины тридцатого. Если в «Епифанских шлюзах» или «Ямской слободе» историю реально представляют фон и эпизоды петровской и екатерининской эпох, то в «Сокровенном человеке» она еще лишь сиюминутная данность, движущаяся меж донскими и волжскими степями, меж Черным и Каспийским морями; в повести она еще как бы незрелая, молодая, но столь жестокая, абсурдная, что один из белых героев повести, исстрадавшийся социально и душевно, ничего не находит иного, как перед гибелью рассудить: «Века мы мучаем друг друга, – значит, надо разойтись и кончить историю».

Но как разойтись, если эпоха, власть, история требуют возвести новейшее эльдорадо – Чевенгур и вырыть великий котлован под единое вселенское счастье?

Между тем в романе «Чевенгур» вопрос «История уже закончилась?» словно бы подтверждается: один из соделателей счастливой жизни человечества «не вытерпел тайны времени и прекратил долготу истории срочным устройством коммунизма в Чевенгуре». Здесь утопия и антиутопия, фантазмагория и реальность сходятся и расходятся, как родные сестры, то мирящиеся, то ссорящиеся. И что здесь время? Движение

светил и сердец? Движение горя? Светопреставление? День – как тысяча лет? Здесь время корчится, стонет, кричит, бежит, сламывается, растекается и словно бы теряет себя.

Быстро накипающая история в «Чевенгуре» и «Котловане», как последняя кара, настолько эсхатологически-беспощадна, что от нее хочется уйти, закрыть глаза и забыть. Но ни время-вечность, ни дочь его – история не обрываются людьми и их декретам и указам не подчиняются. История утекает в вечность, как река в океан. Реку, ток воды еще можно перегородить плотиной, но и то не навечно. Платонов как мелиоратор это хорошо понимал. Певец воды, будь то глубинно-ювенильная, или родниково-коло-дезная, или влекуще-речная, или величаво-морская, он поэтически воспринимал как чистоту, так и глубину любой из них. Глубина же истории, тайна ее жизни подобна глубине и тайной жизни реки, озера, моря.

«Чевенгур» не заканчивается, а если и заканчивается – некоей бесконечностью: незабываемой, с глубокими смыслами картиной, где и физическая смерть, и духовное очищение-бессмертие, где «уход в будущие страны света». Саша Дванов, главный и любимый писателем герой, погибельно ступает в водную глубину, в озеро Мутево, трагически памятное для него с детства: когда-то Сашин отец по доброй воле отдал себя глубине и тайне озера в надежде увидеть, «что там есть... пожить в смерти и вернуться».

Так писатель привносит свое неповторимое слово в отечественное нравственно-философское учение о воскрешении предков через долг, память и любовь.

Ушедшие и живущие поколения встречаются.

История продолжится – и Здесь, и Там.

КОТЛОВАНЫ И БАШНИ

Котлованы, из которых вырастают сталагмиты высотных зданий, громады каменных, железобетонных улиц, – словно невытравимые оспины на теле земли. От них давно уже никуда не деться ни израненной земле, ни человеку, еще ощущающему себя сыном земли, частью природы, – они невчерашняя реальность человеческой цивилизации.

Но бывают котлованы – словно вызов самому Богу. На месте взорванного в столице храма Христа Спасителя вырыт был гигантский котлован: замышлялся революционный Дворец всех времен и народов, но затея не воплотилась, котлован приспособили под бассейн. Атеистический ураган по всей стране терзал соборы и церкви. По большим городам сносили кладбища, а на былых кладбищах, тревожа прах поколений, рыли глубокие котлованы, чтобы цирки и дворцы стояли нерушимо.

И Воронеж – родина Андрея Платонова – лишился тогда, в

атеистический загул, многих храмов и кладбищ, среди первых-Чугуновского, близко от которого жил в детстве будущий писатель и где схоронили его родных –сестру, брата, мать. Дворец зрелищ вымахнул позже на костях кладбища.

Котлован опасен, губителен и для природы, и для человека, особенно, если на уложенном в его чреве фундаменте предпринимается попытка реализовать некий вселенски счастливающий замысел: сооружается, скажем, поднебесная башня, способная вместить весь пролетариат, а то и все человечество в неисчислимых ячеях-жилищах.

Многих мыслителей и художников так или иначе занимал, а случилось, и вдохновлял образ башни. Котлован же – как инообраз опрокинутой башни, как метафора низа, провала, бездны, пропасти. Башня – не колокольня, но башня – как метафора выпренней мысли, наследница Вавилонской гордыни.

Платоновский «Котлован» словно бы выплеснут обжигающей болью – он написан Платоновым в считанные месяцы (декабрь 1929 –апрель 1930), когда страну поистине передернуло «великим переломом», когда она задыхалась от форсированных заданий, когда миллионы крестьянских семей лишались плуга и тягла, получая взамен посулы будущего благоденствия.

К тому времени в самом писателе вера искреннего участника новостроящейся жизни подверглась глубокому, тяжелому испытанию, подтачиваясь, а то и решительно сменяясь сомнением, прозрением, разочарованием, даже отчаянием. Художник же он был слишком чуткий и честный, чтобы закрыть глаза и уши, чтобы – просто промолчать. Незадолго до того, как начат «Котлован», печатается его рассказ «Усомнившийся Макар», из-за которого над автором сразу загремели опасные громы. Могло ли радикальным верховодителям ломаемой и обновляемой страны понравиться в «Усомнившемся Макаре» хотя бы такое: «Он увидел во сне гору, или возвышенность, и на той горе стоял научный человек... Лицо ученейшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни... и миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах». Сомнение частных Макаров – не то состояние, какое могли бы приветствовать несомневающиеся, готовые даже время подстегнуть –вперед! Генсеком рассказ был резко осужден. Рапповский вождь Авербах не замедлил ударить из тяжелой гаубицы: «К нам приходят с пропагандой гуманизма, как будто есть на свете что-либо более истинно человеческое, чем классовая ненависть пролетариата». По Платонову бьют тяжелыми залпами. Он же и далее пишет, и даже публикует, такое (бедняцкая хроника «Впрок»), за что ревнители классовой чистоты не могут не бить.

Платонова перестают печатать, за десять лет свет увидал единствен-

ный, изданный в 1937 году в Москве сборник рассказов «Река Потудань».

И лишь в годы войны выходят без затяжек его книги – все о военной страде.

«Котлован» – не для тогдашних общественных прочтений и публикаций. Поле и машина, крестьянин и пролетарий, коллективизация и индустриализация пересеклись в повести на условной и реально кровотокающей пяди. Лопатой и ломом вершится «великое рытье» – котлован под общепролетарский дом, по завершении которого, как полагают проектанты «неподвижного счастья», единоличные дома опустеют, непроницаемо покроются дикорослью и «там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени». На строительство собрались и согнаны думающе-сомневающиеся и бездумно-увлеченные, «бесцельные мученики», решившие «терпеть свою жизнь до конца» и хваткие приспособленцы, кому прикажи: «К Новому году поспеть сделать социализм!» – поспеют. Товарищ Пашкин командует в городе, анонимный активист – в деревне. Темпы – без оглядки! Лес рубят – щепки летят. Все спишется! Активист, что еженощными бдениями над вышеисходящими бумагами накапливает «энтузиазм действия», утешается: «в районе мне и не поверят, чтоб был один убиец, а двое – это уже вполне кулацкий класс и организация!».

По холодной весенней реке уплывает в жестокое изгнание плот, перегруженный, переполненный отверженными, вчера еще крепкими крестьянами, лишенцами, несчастными, которые неотрывно смотрели на родной берег, чтобы «навсегда заметить свою родину...».

«Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть: где ж тогда греться активному персоналу!». Сколько еще раз этот активный персонал, подчас и сам обжигаясь, погреет руки и на народной беде, и на народном воодушевлении!

«Дом человек построит, а сам расстроится». Человек не может безучастно, без сердца видеть, как рушат церкви и кладбища, как сиротятся избы, как половинятся деревни. Вспомним, один платоновский герой из военного рассказа «любил русские избы, считая их самым лучшим, самым человеческим архитектурным сооружением». Да не о деревянных венцах речь. Рушат многовековой крестьянский уклад – самое душу крестьянства, ломают хребет народу.

«Котлован» – тяжелый и точный прогноз, отчаянное упреждение! Отчужден от человека и сквозит ледяным неуютом любой дом, если возводится он насильственно, принудительно, если нет гармонического соединения стен и человеческих душ, общинной, соборной крепости. Умирает девочка Настя, по-детски быстро впитавшая от окружающих слова классовой неприязни к плохим «чужим», и все же, как всякий

ребенок, – надежда мира, авторская надежда, со смертью маленького существа уже не заменимая никакими всемирно значимыми смыслами.

В «Котловане» – перекошенная «великим переломом» эпоха, отсекаемая от тысячелетнего крестьянского корня страна, сламываемый народ. И даже – сламываемый язык! Ибо когда хотят «победить» народ, изменить его национальное бытие, погасить, обездушить его душу, начинают с атак на язык: в нем – и дух, и душа народные. Язык канцелярии, язык жестких аббревиатур, площадной грубости и неблагозвучности – разве таким языком разговаривал русский девятнадцатый век? Разумеется, когда тебе ломают хребет, – не до литературного изыска, не до певучих благозвучий и стилистических красот. Да и никогда это не было художественной и человеческой задачей автора «Котлована». В предисловии к одному из американских изданий повести поэт Иосиф Бродский сказал честно и точно: «В отличие от большинства своих современников – Бабеля, Пильняка, Олеси, Замятина, Булгакова, Зощенко, занимавшихся более или менее стилистическим гурманством, то есть игравшими с языком каждый в свою игру... он, Платонов, сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности, занимаясь... стилистическими кружевами».

Но вернемся к роющим котлованы. Какую такую башню, более удачливую, нежели Вавилонская, но не менее безбожную, намереваются возвести новоявленные нетерпеливцы на «объединенное счастье»?

И как быть тому, кто не хочет сморить свою жизнь в «тесовом бреду лесов»? Есть ли возможность уйти из круга? Можно ли выбраться из могильного котлована, откуда вырастает всемирная, вселенская башня? Один «тихим шагом скрылся в поле... не видимый никем, довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств». Другому повезет иначе: как гриновскую Ассоль, судьба вырвет его из круга, подхватит на счастливый корабль – «изберет». Но как быть остальным? Как быть народу? Восстать и полечь под карательными залпами? Терпеть эту судьбу? Попытаться даже в разрушительном обрести созидательное? Положиться во всем на волю Божью? На высшие суд и справедливость?

Какие бы режимы и владыки, сменяясь, ни правили бал, соборный крест не меняет своего вечного смысла.

СТРАДА ВОЕННАЯ

«Смерти нет!» – так называется один из фронтовых рассказов Андрея Платонова. Таково и восприятие войны писателем, так размышляют его герои. Смерти – как окончательного исчезновения – нет. Люди гибнут, но остается память о них. Память – дорога к возвращению ушед-

ших, их неумиранию, непогибели. Память и дух – хранители вечности.

«Дух, этот род оружия, вечен. Он действовал при катапультах и переживет танки», – рассуждение офицера из платоновского рассказа, преемственно перекликается с размышлениями Андрея Снесарева, другого уроженца воронежской земли, выдающегося геополитика, ученого, военачальника, который полагал, что неизменным условием всякой победы является крепость солдатского, человеческого духа. Откуда берется этот дух? В чем сила и тайна его?

У Платонова – и особое понимание войны, солдатского дела, и особенное слово о войне. Журналисты и писатели, шедшие с ним бок о бок, отмечали это не раз. Полторацкий, его товарищ по «Красной звезде», сказал: «Платонова привлекало не описание военных действий, а философская сущность их... Хронику течения войны можно себе представить и по сводкам Информбюро. Но сводки не могут ответить на вопрос, как и почему мы выстояли в той беспримерной битве?.. На эти вопросы в значительной мере отвечают военные очерки и рассказы Андрея Платонова».

Исходный взгляд писателя и его героев фронтовых повествований: война – страда, особого рода дело на земле, которое приходится исполнять недавним сеятелям, пахарям, плотникам, устроителям мира. Еще недавно на родной земле любивший ее человек строил, сеял, косил травы. Теперь он вынужден взять в руки оружие.

Чем крепок солдат, у которого «сердце по дому плачет»? Мыслью-памятью о родной избе, семье, близких. Еще до войны Платонов называл семью носителем патриотизма. В военных рассказах писателя вся Россия – большая семья, и для воина на фронтовых дорогах любой старик – отец, любая женщина – мать. И сколь глубок, истинен, целомудрен писатель, говоря о них. Вот – о матери, не могущей поверить в гибель сына, ее сердце всегда видит его живым: «Пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет». А старики, а дети? Целый сонм их проходит по платоновским страницам, они серьезны и значительны, они мудры и чутко чувствуют, что надо быть сильнее своих преклонных или молодых лет, ибо это их состояние даст сильному мужчине-воину новые силы и веру выстоять и победить.

За жизнь человека, родины и человечества сражаются платоновские герои. Они понимают, что война есть война, в ней мало кто из них уцелеет, но даже и на войне испытывают радость – «счастье уничтожения зла». Их страда – победить злодейство. Причем, злодейство, принимающее подчас прельстительный образ. Их правое дело – «защитить добрую правду русского народа нерушимой силой солдата».

Платоновский солдат – противоположность убийцы, смысл его рат-

ного дела близок к материнству, к утверждению жизни: скульптурная фигура воина с девочкой на груди – не красивый, идеально-обманный образ: солдаты не раз, под огнем, часто жизнью жертвуя, выносили детишек из пламени; в том же Берлине – выносили...

Но до Берлина еще далеко, еще солдат строит мосты, наводит переправы, и наш земляк – ему душевный собеседник и помощник, еще «идет дорога на запад, река Горынь течет»...

Платоновскому воину веришь сполна, хотя он и на особицу: в его словах и поступках никогда нет ни словесной скверны, ни пошлости, ни сальности, где бы он ни был, – в атаке ли, в окопе, на коротком отдыхе в случайной избе; он не прочь порассуждать, и даже о вещах отвлеченных, но тут же и пригасить свою, или своего товарища по окопу, или даже командира несколько неумеренную речь резонным, вслух или про себя замечанием; так, когда в рассказе «Смерти нет!» командир произносит в общем-то справедливые, но пространные для окопа слова о погибших, боец мысленно остужает его простым и неожиданным доводом: «Пока он говорил, я землю не копал, а это по дисциплине неверно...».

Писателю, его героям претит фальшь как слов, жестов, вроде тех, что, мол, за ценой не постоим, так и фальшь поступков, действий, которыми обманывается и унижается солдатская душа; герой рассказа «Офицер и солдат» готов застрелить газетного фотокорреспондента, который снимал солдат фотоаппаратом с пустой кассетой и всем подряд обещался выслать снимки.

Родина – наиболее употребляемое Платоновым слово в его военных рассказах и очерках. Так же, как и слова: народ, небо, земля, поле, дорога, сиротство, память, душа – слово «родина» таит в себе глубинные смыслы, объединяет ушедших и живущих, прошлое и будущее.

Родина объемлет воина, но и он всю ее вмещает в свое сердце. «Сол-Дат начинается с думы об отечестве», – вставляет веское слово в перекур-ный, близоконный разговор Никодим Максимов из одноименного рассказа. Под рассказом – приписка: «Орловское направление. Июль 1943 г.». Сразу думаешь о Курской дуге – величайшем сражении Второй мировой войны. Словно бы вся Россия в предельном напряжении собралась здесь – перед Белгородом и Орлом.

Родина, поначалу воспринимаемая как малая пядь, малая или большая деревня у малой или большой реки, а то и вовсе суходольно полевая или лесная, расширяется в солдатском сердце до границ государственных, а война предоставляет ему нерадостную возможность почувствовать огромную даль и ширь родины. Куда только война не забрасывает недавнего пахаря и строителя! Помора – на юг, уральца – на

днепровский рубеж, степняка – в северные леса. И всюду земля Отечества благодатна. Столь благодатна и приманчива, что герой рассказа «Броня» испытывает страх за Россию: «Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной, что ее обязательно когда-нибудь должны погубить враги».

На войне человек более обостренно, нежели в мирной жизни, начинает чувствовать и понимать, что «жизнь человека есть дар, полученный им от родины»; чем ни дольше он защищает родину, днями и ночами пребывая в грязи, в пыли, в дыму, на углищах, тем милее ему она, – словно «поле, где растут люди, похожие на разноцветные цветы».

Поле – «тихое вечное поле», «милое русское поле» – из сокровеннейших образов на страницах платоновской военной поры; даже – когда оно изрыто войной, унижено бесплодием, истоптано и удушено до последней травинки. Люди и на войне продолжают смотреть на поле как на хранителя и воссоздателя жизни, и писатель не мог не увидеть, как недавний крестьянин, подняв па дороге ком земли, забрасывал его в поле, – «чтобы и этот комок тоже мог рожать зерно, а не растаптываться без пользы в прах под ногами». Герой рассказа «В сторону заката солнца» взялся строить оборонное укрепление таким образом, чтоб пастбище меж двух оврагов осталось за нами, и когда командир гневается, выговаривая солдату, что, мол, не крестьяне же они, пришедшие сюда скотину пасти, крестьянский Иван-солдат отвечает резонно: «Мы не крестьяне, мы бойцы, но мы и то и другое...».

«Мы и то и другое»: солдаты не забывают помнить себя, мирных, и едва выдастся короткий меж боями передых, спешат взять у саперов топоры и пилы, а у стариков погорелых деревень – косы, чтобы строить избы и косить хлеба.

С боями им идти «тысячи верст по русской земле, чтобы снова выходить Родину и переменить ее судьбу – от смерти к жизни»; «... снова посеять Россию»; «заново отстраивать Россию».

И над солдатской судьбой, над огромной воюющей страной – последнее, словно завет, напутствие смертельно раненного крестьянина-старика, вышедшего в снежное поле с серпом – жать рожь и не уберечься от мины.

«Пускай на свете все сбудется, что должно быть по правде...»

В годы великой войны писателю – корреспонденту «Красной звезды» – в солдатском окопе приходилось бывать чаще и дольше, нежели в столичной редакции. Он в лицо узнает передовую – «русский солдат для меня святыня, и здесь я вижу его непосредственно». И, как всегда бывало прежде, едва выпадает урочный час, спешит подать весточку жене. Расспрашивает о доме, делится мыслями о войне. И о том, что после

войны надо воздвигнуть не только храм вечной славы воинам, но и храм вечной памяти мученикам нашего народа – ветхим старикам, женщинам, грудным детям. Раздумывает: «И встанет к жизни то, что должно быть, но не свершено. Творчество, работа, подвиги, любовь – вся картина жизни несбывшейся. И что было бы, если бы она сбылась?..».

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ЖИЗНИ

На взятой временем фотокарточке – крестьянски простое, усталое, морщинами иссеченное лицо немолодой женщины в зимнем платке. Это Мария Васильевна Климентова (до замужества – Лобочихина), – мать Андт рея Платонова – глядит в сегодняшний день с удостоверения, выданного Юго-Восточной железной дорогой в 1927 году. Удостоверение продлено до тридцатого года, и грустно сознавать, что в тридцатом оно ей уже не понадобится: в железнодорожные мастерские, куда она часто приносила мужу обеденные узелки, оборвется ее тропинка навсегда. Мать уйдет из жизни, и ее старший сын, нашедший в мире и принесший на страницы своих повествований истинно проникновенные слова о материнстве и сиротстве, рыданиями проводит ее в последний путь.

Будь составлен сборник лучших произведений лучших писателей мира о женщине, нашлось бы в нем праведное место и женским образам Андрея Платонова.

Платоновский мир весь – в пути-дороге, на ветрах и сквозняках, в беде и сиротстве. И женщине в нем часто неуютно, тяжело и даже гибельно.

Платоновская женщина – даже когда девочка, девушка – уже мать. «Мать спасет мир, потому что делает его человеком», – это ранние, юношеские слова Платонова, но они же на всю жизнь его убеждение.

Неоконченная повесть о детстве «Дар жизни» – как благодарная поэма о матери, гимн ее труженичеству, ее тяжелой, износимой доле, ее верности и любви. Мать обычно страдница, – или поднимающая на ноги Детишек в трудный час войны, как героиня рассказа «Возвращение»; или уже потерявшая своих сыновей в войне, как во «Взыскании погибших», и не дающая себе умереть, чтобы сохранить память о них: или, как в «Третьем сыне», уже умершая – уморившаяся жить.

Женщине, прежде чем стать матерью, выпадает тьма искусов, но все побеждается любовью к одинокой чьей-то судьбе и большому миру. Так – во многих платоновских повествованиях. Лишь однажды встретим мы у Платонова женщину, которая столь упоена своей любовью к любимому человеку, своей страстью, что весь мир существует для нее

лишь как напоминание о любимом. Желая быть любимой постоянно, каж-доминутно, молодая героиня рассказа «Фро» телеграммой отзывает мужа из дальнего края; отзывает обманным путем, сообщая о своей якобы смертельной болезни. Но само ее чувство – есть жажда материнства.

А вот еще любовь – в рассказе «На заре туманной юности». Есть милая девушка Ольга, есть и мужчины, которым бы она понравилась. Девушка однако как бы сама по себе. И все же сколько в этом рассказе любви! Ольга свое чувство обращает на мир, на нечаянно встреченное дитя. При крушении поезда, первым желанием очнувшейся – увидеть ребенка, ставшего ей за родного. А могла ожесточиться, рано потеряв родителей, изведав недоброты даже родной тетки, и разве не считала она себя тогда отверженной сиротой? – «Меня в люди не принимают».

Или подвижнический образ – героиня рассказа «Песчаная учительница». Было и у Марии Нарышкиной время, когда «лопаются почки в молодой груди», когда, влюбленная, думала даже о самоубийстве. Но обернулось так, что, закончив учительские курсы, она была направлена в дальнее заволжское село, на границе с желтой, мертвой пустыней, и стала не просто преподавать слово и цифирь, но обучать детей и взрослых «искусству превращать пустыню в живую землю». Через два года зазеленели ше-люговые и сосновые посадки, и тогда же, по кочевому кольцу, совершая привычный круг, близ села прошли кочевники, ни былинки, ни капли не оставив от зелени и воды. Ничего не дал, да ничего и не мог дать разговор с вождем кочевников, который на молодой гневный запал учительницы, обзававшей предводителя кочевого племени преступником, резонно возразил: «Кто голоден и ест траву своей родины, тот не преступник».

В округе, после ее подробного и скорбного рассказа, как деятельной и уже опытной учительнице ей было предложено и вовсе не русское село, –еще более далекие и глубокие пески, где селились кочевники, перешедшие на оседлость; надобно и им помочь укротить пески зеленой преградой, но никого из охотников-просвещенцев туда было не найти, все отказывались. В тех глухих, чужих песках обрести мужа и спутника? Скорее молодость свою придется похоронить там. Но лишь какой-то миг сомнение и желание отказаться шевельнулись в душе молодой учительницы. Резко и памятно ее глазам является опаленная беспощадным солнцем участь «двух народов, зажатых в барханы песков», и она соглашается, обещая вернуться эдак лет через пятьдесят, и уже не по пескам, а по зеленой, в деревьях, дороге.

В рассказе «Река Потудань», казалось бы, ничто не помешает любви двух хороших молодых людей – вернувшегося с фронтовых дорог гражданской войны Никиты Фирсова и Любы, дочери умершей уездной

учительницы. Не торопясь, естественно привыкают друг к другу недавний боец и учащаяся уездной академии медицинских наук. Душевная близость их наступает враз. Но – не свадебная. Через болезни, потери, скудный быт идут они долгие месяцы навстречу общей судьбе. Однако в брачную и последующие ночи Никита не смог явить себя как мужчина от избытка робкой нежности и боязни причинить боль любимой, боязни «мучить Любу ради своего счастья», от душевной стыдливости, от неуверенности, что все должно быть именно так, как бывало со всеми и всегда. Отчаявшись, через некоторое время Никита уходит в дальнюю слободу и, подобно безвестному нищему-бродяге, погружается в немоту, в полубытие реального мира, найдя себе ночной приют на базаре. А Люба? А Люба, поначалу могшая показаться несколько примерчиво-расчетливой, являет способность к поступку, исполненному жертвенности и самоотверженности, – с горя, уже отчаявшись увидеть любимого в живых, она бросается в реку Потудань, и лишь нечаянно спасают ее. Узнав об этом от случайно встреченного на слободском базаре отца, Никита тут же спешит к Любе, и к ним приходит «необходимое, но бедное наслаждение».

Рассказ, исполненный несказанной простоты и тайны одновременно!

Исполнен простоты и тайны и еще один платоновский рассказ – «Афродита». Главная героиня – за кадром, мы ее видим глазами и воспоминаньем любящего человека. Как из морской пены явилась когда-то мифическая Афродита, так из-за пивной пены открылась однажды Назару Фомину всего лишь продавщица пива, ставшая ему его Афродитой. Рассказ – из редких в мире платоновского слова: в нем нет даже упоминания о детях. Велика ли сила у любви, не осеняемой детским смехом, детской улыбкой? Обретя свою Афродиту, Назар Фомин через какое-то время оказывается в покинутых, но через два года Афродита возвращается к нему с чувством не только неушедшей, но еще большей любви. Однако война разлучает их, теперь, быть может, навсегда. Но навсегда ли? Когда Назар Фомин на краткую побывку прибывает в родной разрушенный войною город, он словно бы ощущает живое присутствие любимой женщины, хотя ее, может быть, и нет уже в живых. «Чувство Фомина к Афродите удовлетворялось в своей скромности даже тем, что здесь когда-то она дышала и воздух родины ещё содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее исчезнувшего тела, – ведь в мире нет бесследного уничтожения».

Писатель жизнью своею ни на гран не умалил своего неповторимого слова о женщине, – непосредственным отношением к женщине, будь то девочка-сиротинка, безвестная крестьянка или известная деятельница; будь то мать, которую он ни на миг не терял в своем сердце, или

жена его, муза его, которой он сказал – «моя навечная», или же дочь, которой он рассказывал о добре, правде, надежде.

В платоновской женщине – и вселюбящая, всепонимающая мать, и держательница очага, согревающего и озаряющего человечество, и муза, вдохновляющая нас.

ДЕТСТВА ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ

«Как вечное время, неподвижно стоит детство в воспоминаниях человека. Более позднее время, время юности и зрелости, течет, проходит и тратится в забвении, но детство лежит подобно озеру в безветренной стране нашей памяти и образ его хранится внутри человека неизменным до самой кончины», – в этих платоновских словах детство предстает как непреходящая ценность человеческой жизни, из детской страны – и весь дальнейший человек, и весь мир.

Ребенок – «спаситель Вселенной», – это платоновское раннее. Позже ребенок в платоновском мире станет более земным, бегающим босыми ногами по земле в близкое поле и на дальний луг, глядящим в небо, как подсолнушек, открывающийся солнцу.

Ребенок – цветок на земле. Один из детских платоновских рассказов так и называется – «Цветок на земле». Но хрупкие, как цветы, словно бы предстают от имени вечности. «Дети – это время, созревающее в свежем теле».

Образы платоновских детей – не спутать ни с кем. В них милая, любопытствующая детскость, но и задумчивая, основательная взрослость. Та взрослость, что в силах принять ответственность за будущее семьи, – именно так поступают маленькие платоновские герои в час, когда их отцы воюют и гибнут на войне. В них наивность, но и мудрость. Нежность, но и жесткость, даже подчас жестокость. По стране тяжело ударили две мировых войны, на глазах писателя всесламывающе пронеслись и революционный ураган, и гражданская братоубийственная война, да еще коллективизация, для крестьянства война не меньшая, чем доподлинная, и жестокости было – сверх глаз. А коль «дети – неполные сосуды, и поэтому туда может влиться многое из этого мира» (слова раннего Платонова), то вливается, разумеется, и недоброе, темное, жестокое. Но лишь однажды мы встретимся с детским характером, немногими штрихами так прорисованным, что ничего, кроме боли, стыда, он вызвать не может, – это образ восьмилетнего изверга Васьки, ненавистника родной матери из «Ямской слободы». Обычно же образы платоновских детишек – трогательные, добрые, преданные души, неизменно тянущиеся к матери; став взрослыми, они так же верно берегут родную мать или в памяти родной материнский образ.

Две очевидные особенности в стране платоновского детства. Дети

его – поэтичные, бесконечно любопытствующие существа, часто наделяющие живой жизнью даже неживые, неодушевленные предметы, готовые часами беседовать не только с цветком, жуком, солнцем, но и плетневой изгородью, камнем, замшелым пнем. А еще – редкостные разумники, рассудительно-деловые, хозяйственники, способные взвалить на себя бремя забот, каждый – эдакий мужичок с ноготок.

Мир детства запечатлен Платоновым не только в детских или пограничных с детскими рассказах. Детская тема заявлена еще на страницах ранних повестей, она живет и в рассказах для взрослых – «Глиняный дом в уездном саду», «Семен», «Алтарке», «Дед-солдат», «Свет жизни», «Разноцветная бабочка», «Возвращение». В платоновском повествовании дети и старики – часто рядом. Старики наивны, как дети. Дети мудры, как старики. Дети – как пророки, им порой дано видеть и чувствовать то, мимо чего взрослые торопливо и незряче пробегают. «Делать из смерти жизнь» – до этого додумывается маленький Афоня из рассказа «Цветок на земле», глядя на голубой цветок и слушая объяснение деда про то, как цветок, что труженик, из мертвого песка, каменной крошки, из мертвого праха «работает жизнь» – делает главное дело на белом свете. Или как рассуждает Никита в одноименном рассказе: «Давай все трудом работать, и все живые будут», – это когда возвратившийся отец дал сыну молотком выправлять кривые гвоздики; и выпрямленный гвоздь показался ребенку добрым человечком, не то что прежде, когда ему и лопухи, и пень на огороде виделись злыми и наводили жуть.

В рассказе «Железная старуха» малолетнему Егору до всего есть забота – и до жука, у которого «черные добрые глаза, глядевшие одновременно и на Егора и на весь свет», и до червя, который был «чистый и кроткий», и до усохшего листка, который «когда-то вырос на дереве из земли, долго смотрел на небо и теперь снова возвращался с неба на землю, как домой с долгой дороги». Вскользь, как бы обыденно, но сколь глубока мысль за последними словами. А через несколько строк – «Уже совсем свечерело; в избах зажглись огни, все люди собрались из полей, чтобы жить вместе, потому что везде стало темно», – емкая, общественно значимая мысль, так просто, естественно выраженная.

«Будьте как дети» – великое древнее напутствие, навсегда верное. Детям открывается такое, о чем взрослые и не подозревают, или же, зная когда-то, позабыли. Антошка из «Июльской грозы» задается «мировыми вопросами» – как все, что его окружает, жило до него? Ожидало ли его? Целый полноцветный мир тревоги и радости разворачивается на полевым отрезке от деревни до деревни, на дороге в три с небольшим версты. «Велик мир в детстве», и дети – девочка с

мальчиком за спиной, испуганно, как на картине художника Перова, спешат от грозы, и, как в сказке, встречается им в сотрясаемом громом и молниями враждебном поле добрый человек. Надежда Платонова-дети. К концу жизни его во «взрослых» жанрах почти не печатали, он писал и издавал детские рассказы, да еще сказки. Его взрослый мир – мир сломанного времени и пространства, мир хаоса и антитворения. Детский же мир естествен, как летний дождь, как рожь растет. Он еще не омрачен утопиями и грехами взрослых, истинными потерями и часто бессмысленными приобретениями. Он – от природы и в природе, в «небесно-земледельческой культуре», а не в машинно-городском укладе.

А в жизни? Писатель обожал единственного сына. Сын скончался у него на руках, сгубленный северными лагерями. Вскоре родилась дочь. Ей и незадолго до смерти читал он народные сказки.

Никогда не покидаемое детство. Оттуда – все. В двадцатом, переполненном беспризорными детьми, молодой Платонов сказал: «Женщина и мужчина – два лица одного существа – ребенка: ребенок же является их общей вечной надеждой. Некому, кроме ребенка, передать человеку свои мечты и стремления; некому отдать для конечного завершения свою великую обрывающуюся жизнь. Некому – кроме ребенка».

И разве не о том думал он и в конце своей жизни?

ЗОЛОТЫЕ ЗЕРНА СКАЗОК

В 1950 году, незадолго до смерти Андрея Платонова, в Детгизе вышел сборник русских народных сказок «Волшебное кольцо». Платоновский пересказ, шолоховская общая редакция. Это был небольшой сборник в девять сказок – «Иван-чудо», «Безручка», «Чудесный мальчик», «Волшебное кольцо», «Иван Бесталаный и Елена Премудрая», «Умная внучка», «Морока», «Финист – Ясный Сокол», «Солдат и царица».

Они взяты из огромного афанасьевского свода русских народных сказок. Афанасьев и Платонов – земляки, и, можно думать, будущий писатель еще в раннем детстве был знаком со сказками из знаменитого свода знаменитого фольклориста, – сказками, немалым числом собранными Афанасьевым и его друзьями в Черноземном крае и даже в близких к губернскому городу Воронежском, Бобровском, Землянском уездах.

В 1947 году в «Огоньке» Платонов публикует статью «Сказки русского народа», где добрыми словами отзывается о подвижнической деятельности земляка, находит его собрание одним из лучших; и все же, тем не менее, видит в его своде некое, под стать гербарию, усушение сказки, невольную остановку жизни сокровенного фольклорного жанра сказки, которая «не является однажды созданным и навсегда запечатленным произведением: она движется из уст в уста, от сказителя к сказителю, от переписчика к переписчику... Процесс творчества

сказки продолжается десятилетиями и столетиями, в нем участвуют представители нескольких поколений народа...» Главное возражение афанасьевскому своду сказок: Платонов видит и жалеет, что это не записи, а переработки. Все бы ничего, но... «сказки обрабатывал ученый, человек, любящий народное творчество и знающий его, но не художник; не будучи же художником, это дело вполне хорошо исполнить нельзя».

И впрямь, сравнивая тексты сказок из афанасьевского свода и пересказанные Платоновым, видишь, что последние, пусть и чуть-чуть, поэтичнее; и как они естественно продолжают и углубляют ту кажущуюся наивность, а, вернее, мудрую простоту, что являлась в сердце и языке народа и, может, в чем-то была утрачена под волнами времени или при-погашена обработкой собирателя. И еще очевидное: в платоновском пересказе – более проявленное чувство крестьянской жизни, здесь органично – о крестьянской доле, сиротстве, добре, правде, земле и пашне. Различия пусть и небольшие, но Платонов и в сказке Платонов: как сам народ. Платоновское «Волшебное кольцо» – о земле и крестьянской доле, чего нет в одноименной сказке из свода; и концовка иная: герой собирается жениться на крестьянской девушке-сиротке, которая несравнимо прекрасней былой неверной жены-царевны. И в «Финисте – Ясном Соколе» платоновская заключительная страница глубже и поэтичнее афанасьевской; и опять-таки и здесь крестьянское дело остается сущим в любую пору и погоду, вином-весельем не заливадается: идет свадьба, гости «с лета до зимы не разошлись бы, да настала пора убирать урожай, хлеб осыпаться начал».

А сколько в платоновском пересказе, словно щедрой горстью житнетворных зерен, рассыпано афористических выражений, перлов-приказок, жемчужин-поговорок! Истинно народное, но рожденное сердцем писателя – «Зло на посев не оставляется», «Сильна хитрость ума, а добро сильнее хитрости», «Не в силе сила, но в добре», «Что царю в обиду, то народу в поученье», «Народ всем отцам отец». Или же – «Несчастье хоть и живет на свете, да нечаянно, а счастье должно жить постоянно», – заветная надежда писателя, взывающая к людям не только со страниц его сказок. Каких-нибудь десятков слов, а за ними – миллионы судеб: «Строили, рубили, строгаи, тесали, народную силу без счета клали, – и построили корабль», – в одном сказочном предложении – целая эпоха и драма народной жизни.

После войны, когда в «Новом мире» появился платоновский рассказ «Семья Иванова» («Возвращение») и был подвергнут разгрому, Платонова снова не печатают. Разве что малые рассказы. Разве что сказки.

Но есть своя творческая потребность и воля в том, что под конец жизни Платонов прямо, сердце в сердце, обращается к сказке: она как

бы венчающий аккорд в его народности, его жизни и творчестве. В сказке –целая вселенная, в ней народный взгляд на бытие мира и человека. В сказке – чаянье, опыт и заповеди ушедших поколений, по которым жить не в добре и не в любви – грешно; наживаться на хитрости, лукавстве, на чужом несчастье – грешно; добро и честь – гонимые, но они в сердце народном, и они возьмут верх над злом и бесчестием.

А коль так, понятным становится, почему Платонов в огромном цветнике народных сказок избрал именно «колючие», жесткие, в каких даже добру приходится быть недобрым, в каких поединки добра и зла, правды и неправды не признают прямолинейного рыцарского «изящества».

Как то и водится в сказочном, волшебном мире, человеку нередко приходят на помощь то птица, то зверь, то щука-рыба. Злонамеренные толкователи даже в этом тщатся найти ущербные проявления души и характера народа, искажают сам метафорический строй русской сказки, где герой отнюдь не ленивец, покорный судьбе, а искатель смысла и правды. За правдой идет даже в «мертвое царство». И помогают ему добрые, светлые силы. А темные он побеждает в единоборстве, не чуждаясь смекалки.

Да, «трудом праведным не наживешь палат каменных». В одиночку –не наживешь... Но разве не народ созидал их на огромных пространствах, разве не он, обустривая мир, расширил родину до Тихого океана?

Уходит ли традиционная сказка насовсем? Полевая, лесная, крестьянская? Время от времени издается она, издается и в пересказе Платонова. Есть ли нужда в его «Волшебном кольце» для нынешнего времени? Какие сказки ждут нас завтра? Ведь и атомную реальность обращают в сказку и миф!

1982, 1997